

И никому не верил на Земле

1961-й

В четыре – очередь за хлебом,
И там встречали мы рассвет.
Я был худым, большим, нелепым,
Тринадцати лохматых лет.
Старухи, завернувшись в шали,
Приткнули плечики к стене.
Они, как лошади, дремали,
Не помышляя обо мне.
Похмельный инвалид Володя
Гармошку тихо теребил
И крепко материл уродин,
Кто в этом всём виновен был.
С подвывом он кричал, и с болью,
Обрубок давешней войны,
Что загубили Ставрополье,
Былую житницу страны!
Я дома повторял: «Вот гады!..»
Но стыд взрывался горячо:

Я ж помнил мамину блокаду
И папин Невский пятачок.
Горбушку посолив покруче
И крошки слизывая с рук,
В окно смотрел я на могучий
И равнодушный к нам Машук,
Мычал фальшиво Окуджаву,
Стихи лелеял в голове...

Кончалась оттепель в державной,
Пока неведомой Москве.

Сухари

А бабушка сушила сухари,
И понимала, что сушить не надо.
Но за ее спиной была блокада,
И бабушка сушила сухари.

И над собой посмеивалась часто:
Ведь нет войны, какое это счастье,
И хлебный рядом, прямо за углом...
Но по ночам одно ей только снилось —
Как солнце над ее землей затмилось,
И горе, не стучась, ворвалось в дом.

Блокадный ветер надрывался жутко,
И остывала в памяти «буржуйка»...
И бабушка рассказывала мне,
Как обжигала радостью Победа.
Воякой в шутку называла деда,
Который был сапером на войне.

А дед сердился: «Сушит сухари!
И складывает в наволочку белую.
Когда ж тебя сознательной я сделаю?»
А бабушка сушила сухари.

Она ушла морозною зимой.
Блокадный ветер долетел сквозь годы.

Зашлась голодным плачем непогода
Над белой и промерзшею землей.

«Под девяносто, что ни говори.
И столько пережить, и столько вынести».

Не поднялась рука из дома вынести
Тяжелые ржаные сухари.

Прадед

Мой прадед, плотогон и костолом,
Не вышедший своей еврейской мордой,
По жизни пер, бродяга, напролом,
И пил лишь на свои, поскольку гордый.
Когда он через Финский гнал плоты,
Когда ломал штормящую Онегу,
Так матом гнул – сводило животы
У скандинавов, что молились снегу.
И рост – под два, и с бочку – голова,
И хохотом сминал он злые волны,
И Торы непонятные слова
Читал, весь дом рычанием наполнив.
А как гулял он, стылый Петербург
Ножом каленым прошивая спяну!
И собутыльников дежурный круг
Терял у кабаков и ресторанов.
Проигрывался в карты – в пух и прах,
Но в жизни не боялся перебора.
Носил прабабку Ривку на руках
И не любил пустые разговоры.
Когда тащило под гудящий плот,
Башкою лысой с маху бил о бревна.
И думал, видно, – был бы это лед,
Прорвался бы на волю, безусловно!..

Наш род мельчает, но сквозь толщу лет
Как будто ветром ладожским подуло.

Я в сыне вижу отдаленный след
Неистового прадеда Шаула.

Сапожник

Маленький сапожник, мой дедушка Абрам,
Как твой старый «Зингер» тихонечко стучит!
Страшный фининспектор проходит по дворам,
Дедушка седеет, но трудится в ночи.

Бабушка – большая и полная любви,
Дедушку ругает и гонит спать к семи...
Денюжки заплатит подпольный цеховик,
Маленькие деньги, но для большой семьи.

Бабушка наварит из курочки бульон,
Манделех нажарит, и шейка тоже тут.
Будут чують запах наш дом и весь район,
Дедушка покушает, и Яничке дадут.

Дедушку усталость сразила наповал,
Перед тем, как спрятать всего себя в кровать,
Тихо мне расскажет, как долго воевал:
В давней – у Котовского, а в этой ...
будем спать...

Маленький сапожник, бабуле по плечо,
Он во сне боится, и плачет в спину мне,
И шаги все слышит, и дышит горячо,
И вздыхает «Зингер» в тревожной тишине.

Ерофей Павлович

Сбежать бы туда, где снег опаловый,
Где сосны такого роста, что голову держи,
Там станция есть, Ерофей Павлович,
Высокое небо, низкие этажи.
Мимо, мимо, на Амур везли меня,
А потом – обратно, хорошо, что головой вперед.
Три дня здесь стояли – забита линия,
И любопытствовал местный народ:

Что за вагон, гудящий стонами,
И, хотя нам не велели высовываться из ок'он,
Понесли пирожки – корзинами, молоко – бидонами,
А то и самогон, замаскированный рюкзаком.
Санитарка Полинька, с округлой речью,
С маленькой намозоленной рукой,
Говорила мне: «Пей молоко, еврейчик,
Поправляйся, а то ведь совсем никакой...»
А я мычал, не справляясь со словом,
Я нащупывал его онемевшим языком,
Я хотел ей сказать много такого,
С чем ещё и не был толком знаком.
В мешковатом халате тоненькая фигурка...
Вот и дёрнулся поезд, и все дела.
Под мостом бормотала блатная река Урка,
Что-то по фене, молилась или кляла.

Сестрорецкое

В забубенном Сестрорецке, возле озера Разлив,
Я свое пробежал детство, солнцем шкурку прокалив.
Там, где Ржавая Канава, там, где Лягушачий Вал,
Я уже почти что плавал, далеко не заплывал.
Эта финская водица да балтийский ветерок...
Угораздило родиться, где промок я и продрог,
Где коленки драл до мяса – эту боль запомнить мне б -
Где ядреным хлебным квасом запивал соленый хлеб,
Где меня жидом пархатым обзывала шелупня,
Где лупил я их, ребята, а потом они – меня.
Только мама знала это и ждала, пока засну...
Я на улицу с рассветом шел, как будто на войну.
Чайки громкие летали, я бежал, что было сил,
Со стены товарищ Сталин подозрительно косил...

Сам себя бедой пугая, сбросил маечку в траву,
Приняла вода тугая, и я понял, что плыву!
Непомерная удача, я плыву, а значит – жив...
Называлось это – дача, детство, озеро Разлив.

Плацкартное

Единственный из проклятого рода,
Плевал в колодец и не дул на воду,
И никому не верил на Земле.
Он заплатил за бацию-полицая...
Не разглядел тогда его лица я
В плацкартной ненасытной полумгле.

Он говорил, не мог остановиться,
И бился голос как слепая птица –
Казалось, что расколется окно.
Он говорил о лагере, о воле,
И я, пацан, объелся этой боли,
И словно бы ударился о дно.

Цедил слова он, бил лещом по краю
Нечистого стола. И, обмирая,
Смотрела злая тётка на него.
Он пиво пил, и нервно цыкал зубом,
И тётке говорил: «Моя голуба...
Не бойся, я разбойник, а не вор!»

Он растворился в городке таёжном,
И все зашевелились осторожно,
Шарахаясь от встречного гудка.
И пили водку, хлеб кромсая ломкий,
И только мама плакала негромко,
И говорила: «Жалко мужика...»